

## 1. Образы будущего: между антиутопией и апокалиптикой

В течение последних лет в России появились произведения, которые обычно относят к жанру антиутопии. Среди них книги Д. Быкова («ЖД», «Эвакуатор»), О. Славниковой («2017»), С. Доренко («2008»), В. Сорокина («День опричника»), А. Волоса («Аниматор») и некоторые другие. Нередко указанные произведения называют и «дистопиями», хотя смысл в слово «дистопия» обычно вкладывается тот же самый. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что мы имеем дело вовсе не с классическими образцами антиутопического жанра, и что сходство, скажем, «2008» Доренко с «1984» Оруэлла состоит только в датировочном стиле названия. В таком случае говорят, что мы имеем дело с «неклассическими» антиутопиями и дистопиями. Так, А. Чанцев, задавшись целью определить жанровую специфику наших последних «антиутопий», утверждает: «Вернее всего, представляется, было бы определить эти социально-политические фантазмы как дистопию, но — отнюдь не классического типа. Прежде всего бросается в глаза то, что, сохраняя форму дистопического предупреждения и обращенность к будущему, в действительности эти произведения имеют дело с настоящим временем...»<sup>1</sup>. Ниже он дает и такое определение: «сатира, считающая себя антиутопией»<sup>2</sup>. То есть авторы *имели намерение* создать антиутопию, а получилась сатира.

Так или иначе у нас появился ряд произведений неясной жанровой принадлежности, но воспринимаемых как антиутопии или дистопии, или нечто хотя бы «по намерению» к ним близкое. И тем не менее ясно, что на самом деле это не антиутопии, а нечто иное. Ответить однозначно на вопрос «что это такое?» трудно, потому что это означало бы ответить и на другой вопрос: что такое мы (российские общество, культура, цивилизация и т.д.) есть сейчас? Иными словами, вот перед нами несколько произведений неясного жанра — с какой исходной позиции мы называем эти произведения антиутопиями, дистопиями и т.д.?

Когда мы называем нечто антиутопией, мы, следовательно, имеем перед глазами некоторый искаженный утопический образ. Антиутопия — это реакция на какую-то утопию, в ней всегда присутствует отсылка к некоей утопии. Поэтому когда сегодня говорят, что у нас появились антиутопии, надо выяснить — на какие утопии они могли быть ответом.

<sup>1</sup> Чанцев А. Фабрика антиутопий: Дистопический дискурс в российской литературе середины 2000-х // Новое литературное обозрение. 2007. № 4. С. 271.

<sup>2</sup> Там же. С. 274.

Пожалуй, для первой половины 1990-х это могла быть только *либеральная утопия* перехода к образу жизни «как на Западе» с его «потребительским раем». Рай напрямую увязывался со свободным рынком. Свобода, политические права и прочие красивые лозунги — все это было привлекательным, но второстепенным довеском. Характерна оговорка О. Смолина: «Новейшая российская революция, среди прочего, проигрывает великим предшественницам и потому, что не выдвинула относительно продуктивной утопии, способной мобилизовать широкие слои народа»<sup>1</sup>. Не отрицается, что утопия у нас была, отрицается ее «продуктивность». Может быть, поэтому в литературе «непродуктивная» утопия не нашла воплощения: никто не вдохновился и не пожелал описывать сон какой-нибудь либеральной Веры Павловны, хотя политиков и публицистов, проповедующих либеральную утопию одно время хватало.

Злые языки вроде Д. Быкова утверждают, правда, что под этой нашей либеральной утопией крылось нечто не совсем либеральное: «Ну, получите. Только не жалуйтесь, если вас возненавидят собственные дети. Произошла интересная вещь: в семидесятые для интеллигента нормально было ненавидеть насильственные попытки цивилизовать народы. Национальная республиканская интеллигенция отстаивала право на самоопределение и ненавидела большевистский интернационализм. Сельские прозаики абсолютизировали сельский труд и проклинали механизированную и праздную городскую жизнь. Интеллектуалы стремительно опрощались, уезжая в те самые деревни. Другие интеллектуалы писали убедительную фантастику о том, что всякое прогрессорство кончается огнем и мечом, и задача всякого настоящего человека — противостоять насильственному усовершенствованию его природы. И эта утопия осуществилась, и энтропия восторжествовала, и подпочвенные силы простоты и деградации вырвались наружу. И национализм стал править бал по всем российским окраинам, и эмэнэсы оказались без работы, и оборонка накрылась, и технократы разорились, а сельская жизнь стала первобытной в худшем смысле слова»<sup>2</sup>. Иными словами, мы хотели утопии, суть которой — уклониться от истории в некую «естественность». В 90-х либерализм и был именно такой утопией естественности и бегства от истории. Все есть, все придумано, надо только повторить это у себя. Рынок — это естественный порядок вещей, демократия — наилучший из возможных режим, ибо все остальные еще ху-

<sup>1</sup> Смолин О. Новейшая революция в России и перспективы социализма XXI века // Свободная мысль. 2007. № 10. С. 64.

<sup>2</sup> Быков Д. Всех утопить! Русская утопия как антиутопия для всех остальных // Русская жизнь. 2007. № 9 (31 августа 2007 г.).

же и т.д. Все это скрывалось под либеральной фразеологией, было неотъемлемой частью нашей как бы либеральной утопии.

Постепенно все наши либеральные мечтания осуществились. Правда, многими отмечается, что в России растет уровень агрессивности, страха, беспокойства за будущее и т.д. «В сущности, — пишет В. Соловей, — мы живем в социальном аду, но именно в силу погруженности в него его не замечаем: социальная и культурная патология, насилие и жестокость стали нормой, особенно для поколения, социализировавшегося в постсоветскую эпоху и лишенного возможности исторических сравнений»<sup>1</sup>.

Но нельзя отрицать, что все требуемое так или иначе осуществилось. После некоторых пертурбаций мы получили и рыночную экономику, и изобилие товаров на полках магазинов, и демократию. И даже за потерю прежнего влияния на международные дела также последовала компенсация в виде статуса суверенной «энергетической сверхдержавы». Конечно, в 1990-е гг. многие мечтали не совсем о том, что есть сегодня. Такое воплощение либеральной утопии им показалось бы антиутопией. В определенном смысле сегодня мы можем признать, что живем в антиутопии или, по крайней мере, в такой реальности, которую легко описать как антиутопию. Потому что осуществление утопии «не так, как мечталось», то есть с искажениями — это и есть антиутопия, а привычное обитание в социальном аду — явная картина *бытия-в-антиутопии*.

Но вернемся к собственно современной российской антиутопии, которая у нас могла быть и какая она есть на самом деле.

В свете сказанного выше было бы очень логично предположить, что классическая антиутопия в России 1990–2000-х гг. описывала «звериный оскал капитализма», гримасы западного (американского) образа жизни, в том случае если бы он укоренился у нас на долгие годы. Однако такого рода антиутопии не нашли у нас большого спроса, ибо не могли сказать нам ничего принципиально нового по сравнению с тем, что уже есть в реальности. Например, много ли добавила к известному нам из жизни антиутопия «ближнего прицела» В. Рыбакова «На следующий год в Москве», в которой Россия расчленена на ряд мелких государств, где планомерно убивают науку и культуру? Ничего, кроме деталей — так уже почти было в середине 1990-х. И это, пожалуй, единственная антилиберальная антиутопия исключительно «на российском материале». Антиутопия З. Оскотского «Последняя башня Трои» посвящена уже отчетливо выраженной глобальной проблематике. В ней «золотой миллиард», к которому присоединяются и русские, с помощью генетического

<sup>1</sup> Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль. 2007. № 10. С. 71.

оружия расправляется почти со всеми остальными жителями планеты, — чтоб не мешали, — и начинает благополучно загнивать в сытом «обществе потребления». Иными словами, у Оскотского русские присоединяются к чужой антиутопии, которую, впрочем, можно назвать и антилиберальной. «Мародер» Аль Атоми посвящен вроде бы российской проблематике, в нем мы видим тот же образ расчлененной и одичавшей России, что и у В. Рыбакова. Но это скорее не антилиберальная, а «геополитическая» антиутопия: слабая Россия оказывается неспособной противостоять внешнему давлению и превращается в жертву сопредельных государств. Показательно, что в самой, наверное, яркой антилиберальной антиутопии 2000-х («Мечеть Парижской Богородицы» Е. Чудиновой) действие происходит вовсе не в России, а во Франции. Вот до чего, дескать, доведут европейцев либеральная веротерпимость и пренебрежение собственной христианской культурой. Но у Чудиновой эта антиутопия разворачивается на фоне присутствующей где-то на заднем плане сильной христианской России — почти утопической России-катехона, удерживающей мир от сползания к апокалипсису. «Война за Асгард» К. Бенедиктова, описывающая торжество страшного нового мирового порядка — это также антиутопия мирового масштаба; в ее основе лежит часто высказываемое по отношению к либеральному капитализму обвинение в том, что при опасности он превращается в фашизм и расизм.

Конечно, бенедиктовская антиутопия задевает и Россию (да так, что ее вовсе не остается), но российская проблематика в ней совсем не главная. Точнее, здесь то же самое предостережение насчет возможной гибели России от внешней угрозы и внутренней слабости. «Золотой миллиард» Г. Прашкевича вообще описывает будущее, столь отдаленное от наших реалий, что в нем нет ни конкретных стран, ни особых народов, да и современные идеологии, вроде того же либерализма, значения не имеют. В целом можно сказать, что проблематика наших собственно антиутопий, имевших место в последние годы — не либеральная и не антилиберальная, а скорее касающаяся вопроса о потере Россией культурной идентичности, ее ослаблении и гибели.

С другой стороны, в этот же период развернулся талант В. Пелевина — мастера описания духовно-культурных, психологических аспектов жизни в наличной антиутопии. Уже его первый культовый роман «Generation “П”», который вроде бы целиком про современность, называли именно антиутопией<sup>1</sup>. И действительно, ведь он был посвя-

<sup>1</sup> Кстати, показательно, что произведения Быкова, Доренко, Славниковой, в которых описывается *сегодняшний или почти сегодняшний день*, критикой также были причислены к разряду именно антиутопий: это ли не доказательство, что мы и в самом деле живем в антиутопии?

щен той же проблематике потребительского общества, манипуляции сознанием, тотальной несвободы и т.д., которая характерна для классических антиутопий. Не менее симптоматично, что Пелевина упрекали в алармизме, в то время как либеральная критика всячески ругала алармизм, усматривая в нем явную или скрытую апелляцию к коммунизму<sup>1</sup>. В сущности, Пелевина обвиняли в том, что он, описывая современность, не может найти иного языка и иных приемов, кроме тех, которые подходили бы для описания механизмов антиутопии. Что собственно и являлось завуалированным признанием: да, мы действительно живем в антиутопии, но зачем же об этом так прямо говорить? Пелевин «поскреб» нашу реальность и первым обнаружил под нею особого рода антиутопию — антиутопию без творящего ее субъекта, без «великого инквизитора». Герой классической антиутопии мог хотя бы на допросе получить ответы на свои вопросы. Героям пелевинских дистопий не достается и этого, они могут получать только намеки, частичные ответы. Максимум, что доступно им — это освобождение от иллюзий.

Чем, собственно, являются книги Пелевина про криэйторов, а затем про оборотней и вампиров? Рассказами о неких сообществах, которые, на первый взгляд, имеют возможность понять истинную подоплеку происходящего, что должно давать им привилегированное (в гносеологическом смысле) положение. Но в действительности это только иллюзия привилегированности, ибо она только усугубляет душевный дискомфорт. Гносеологически привилегированные герои Пелевина не счастливее персонажей классических антиутопий, узревших краешек истины из запрещенной книги или из разговора с «великим инквизитора». Они все равно остаются внутри антиутопии, не могут даже представить себе, как из нее сбежать. Не менее примечательно, что у Пелевина постоянно присутствует сплав постмодернизма с марксизмом: эта прямая отсылка к одной из могущественных утопий почти прямо указывает на антиутопичность рисуемых автором картин.

Возвращаясь к исходной проблематике, отметим, что в данном отношении Минаев, а тем более Доренко — не более чем эпигоны Пелевина: герои их произведений точно так же ощущают дискомфорт бытия-в-антиутопии, но даже и не пытаются обрести гносеологически привилегированного положения. Им остается только претерпевать и жаловаться на жизнь, а антиутопия их в итоге перемальвает.

Итак, в нашем случае реальность — антилиберальная (а на деле потребительно-рыночная) антиутопия. Но наш случай не уникален, не одни мы живем в антиутопии, были и до нас исторические прецеден-

<sup>1</sup> См.: Роднянская И. Этот мир придуман не нами // Новый мир. 1999. № 8.

ты. Например, французы времен Наполеона и Реставрации также могли бы сказать, что живут в настоящей антиутопии: кое-что из лозунгов революционной утопии в жизнь воплотилось, но счастья почему-то не прибавилось. Примерно то же самое могли бы сказать пролетарии марксовских времен, к которым либерально-капиталистическая утопия оборачивалась чаще всего не лицом. Жизнь в капиталистическом обществе, доминирующей идеологией которого является либеральная, вообще очень часто склонна оборачиваться для среднего человека бытием в антиутопии. Либеральная утопия обещает человеку многое — от личных и политических свобод, до экономического процветания (вспомните начало 1990-х!); но когда дело доходит до реализации, сразу обнаруживается масса ограничений социального и культурного характера. Когда жизнь в антиутопии становилась невыносимой, ответом служили как революционные (прогрессивные), так и реакционные утопии. В каком-то смысле тот же марксизм, равно как и современные ему социалистические утопии также были реакциями на антиутопию — либеральную, буржуазно-революционную и т.д. То же самое происходило и у нас.

Поэтому в 1990–2000-х гг. у нас появились (преимущественно в форме фантастики) утопии, имеющие явственно левый или, по крайней мере, гуманистический оттенок. Однако, что характерно, эти утопии к сегодняшней России не имели никакого или почти никакого отношения. Как, например, творения В. Рыбакова («Гравилет “Цесаревич”»), ордусский цикл Х. Ван Зайчика, М. Ахманова («Ливиец»), И. Эльтеррус («Отзвуки серебряного ветра»), А. Лазаревича («Червь», «Князь мира сего»). Такое неверие в утопию «для нас» и «при нашей жизни» вполне понятно, если учесть, что в этот же период нам активно внушали невозможность всякой утопии (даже либеральной, поскольку, как мы отмечали выше, на деле она скрывала под собой стремление вернуться к некоему естественному порядку вещей). Стоит вспомнить, как многие наши фантасты измывались над всякого рода прогрессорами! Самый успешный из их числа, С. Лукьяненко, кажется, всю силу своего таланта посвятил дискредитации любых утопий, проповедуемых любыми благодетелями человеческого рода. В «Дозорах» и «Звездной тени» Лукьяненко развенчал все утопии — от религиозной до гуманистической и коммунистической. Но что стало закономерным результатом такой дискредитирующей утопии стратегии? В «Черновике» Лукьяненко уже описывает *наш* мир — и не более как «черновик» иного, лучшего мира<sup>1</sup>. Иными словами — как все ту же искаженную при во-

<sup>1</sup> Тут наблюдается весьма характерная перекличка с «Гравилетом “Цесаревичем”» В. Рыбакова, в котором наш мир — даже не ухудшенная копия оригинала, а его миниатюрное подобие, плод бесчеловечного эксперимента двух честолюбивых ученых и политиков.

площени утопию (причем чужую, не нашу), то есть как антиутопию, с которой можно только смириться. Но принятие наличной реальности становится принятием бытия-в-антиутопии.

Свято место пусто не бывает — после тщательной дискредитации левого утопизма (социалистических, коммунистических и вообще прогрессистских утопий) в отечественной фантастике появились политические проекты отчетливо правого идеологического оттенка, которые могут быть названы «реакционными утопиями». Большинство из них имело откровенно реваншистский характер: главным было восстановление утраченного могущества России, чуть ли не любой ценой. Таковы произведения Ю. Никитина («Ярость», «Империя зла», «Скифы»), Ю. Козенкова («Крушение Америки»), В. Косенкова («Новый порядок»), Р. Злотникова («Виват, империя!», «Армагеддон»), В. Михайлова («Вариант И»), М. Юрьева («Третья империя») и другие. Наступил расцвет так называемой «имперской» фантастики: многие авторы, даже и не ставившие себе целью нарисовать какой-то утопический проект в имперском стиле, тем не менее в качестве сюжетного фона изображали какую-нибудь империю, нередко все ту же Российскую или даже советскую, пусть и возрожденную в далеком будущем. Этот имперский фон встречается в книгах Д. Володихина («Конкистадор» и другие), А. Зорича («Завтра война», «Время московское»), А. Шубина («Ведьмино кольцо. Советский союз XXI века»), И. Эльтеррус «Безумие бардов» и другие) и т.д. Появился также примыкающий к данной тенденции ряд альтернативно-исторических произведений, в которых Россия достигает могущества, уничтожая и унижая своих исконных противников.

Показательно, что идеологическая реакционность имперских и реваншистских проектов далеко не всегда заключалась в тотальном отрицании либеральных и левых ценностей. Многие из этих проектов вполне могли допускать наличие либеральных прав и свобод, элементов социального государства в имперских рамках. Реакционность заключалась в том, что в мышлении подавляющего большинства авторов господствовала цивилизационная парадигма. К концу 1990-х — началу 2000-х гг. многие российские интеллектуалы пришли к выводу, что правы были Данилевский, Шпенглер, Хантингтон и прочие «консервативные революционеры» типа Дугина, говорившие, что человечества нет, а есть только борьба цивилизаций и культур. Приверженность своим культурно-цивилизационным корням стала важнее, чем забота о человечестве вообще. Пропало желание прислушиваться к «лицемерным западникам» с их либеральными ценностями, которые в действительности прикрывают циничную заботу только о собственном благе. Многие согласилось с тем, что величайшей глупостью наших

предков было стремление принести счастье всему миру, вместо того чтобы заботиться о себе. Вспомнили, что на самом деле в реальном мире «кто сильный, тот и прав». Мир жесток и несправедлив, поэтому оправданно стать такими же по отношению к нему. Для внутреннего же пользования надо придумать какую-нибудь национальную идею, достаточно цивилизованную, гуманную и возвышенную. Ну например, основанную на наших традиционных и советских (тоже понятых в традиционалистском духе) ценностях.

По этим рецептам и было сотворено большинство имперских и рваншистских проектов, отрицавших любой универсализм в пользу национально-культурной идентичности. А апелляция к национально-культурной идентичности автоматически вела к воспроизводству как форм политического устройства, так и идеологической символики, уже имевшей место в прошлом<sup>1</sup>. Эти апелляции к символам прошлого во многом определили облик наших реакционных утопий.

Сложилось неустойчивое, ведущее к моральной дезориентации сочетание цивилизационистских и универсалистских моральных установок, в равной степени являвшихся частями нашего культурного наследия. Лозунг восстановления порядка и могущества прежде всего вступил в конфликт с универсальными требованиями справедливости и гуманности. Проекты, выдвигавшиеся одними авторами в качестве утопий, другими стали описываться и восприниматься как антиутопии, и наоборот. Если, например, переход России к исламу у В. Михайлова в «Варианте И» или у Ю. Никитина в «Ярости» рассматривался как вариант светлого будущего, то у Е. Чудиновой в «Мечети Парижской Богородицы» оценки были прямо противоположными.

На этом фоне моральной дезориентации появился ряд произведений, авторы которых, похоже, и сами не всегда понимали — пишут они утопию или антиутопию. Что такое, к примеру, «Выбраковка» О. Дивова — антиутопия, обличающая некий вариант тоталитаризма и «фашизма», или проговаривание некоего постыдного, но, тем не менее, привлекательного содержания «коллективного бессознательного» отчаявшихся людей? Или «Сверхдержава» А. Плеханова с ее психотронной благодатью? Или «Последняя башня Трои» с ее хладно-

<sup>1</sup> У некоторых авторов такая установка проводится вполне целенаправленно. Например, космическая империя русских у А. Зорича («Завтра война», «Время московское») в институциональном плане является результатом так называемой «ретроэволюции» и включает в себя элементы и Российской империи, и советского строя, и либеральной демократии. У А. Шубина («Ведьмино кольцо. Советский союз XXI века») граждане возрожденного Советского союза делятся на сообщества, выбирающие себе или имперскую форму правления, или демократическую, или советскую и т.д., и соответственно избирают себе императора, президента и т.п.

кровным оскотлением небелого населения планеты (а заодно и ликвидацией многих проблем «белого человечества»)? Или «Оборона тупика» М. Жукова, когда само название книги отражает всю сомнительную привлекательность нарисованной в ней картины будущей «энергетической сверхдержавы», цинично грабящей замерзающую Европу? Все это были, по меньшей мере, «спорные» утопии или не менее «спорные» антиутопии.

Показательно, что на уровне риторики эти реакционные утопии тоже воплотились, поскольку власть быстро осознала все выгоды их использования в пропаганде. В то время как на практике осуществлялось постепенное сворачивание публичной политики, складывался порядок преемничества высшей власти, отвечающий как монархическим, так советско-партийным традициям «русской системы», что отвечало антилиберальному духу реакционных утопий, начали множиться апелляции отчасти к советской, отчасти к дореволюционной российской символике и достижениям. Это все, правда, не могло вернуть реалии и действительные достижения тех эпох. Зато расцвела пышным цветом риторика национальной идентичности и суверенной демократии; вслед за мюнхенской речью Путина, после войны с Грузией возобновилась риторика «холодной войны» и т.д. Но так как реакционные утопии воплотились столь же непоследовательно как и либеральная, то мы теперь вдобавок живем и в реакционной антиутопии — искаженном воплощении реакционной утопии. Подобно тому, как некоторые планеты вращаются в системах «двойных звезд», наше общество обретается в системе «двойной антиутопии», которая никого не удовлетворяет.

Вот на этом фоне «двойной антиутопии» и появились наши странные произведения последних лет, которые при ближайшем рассмотрении на антиутопии не слишком похожи. Конечно, вполне вероятно, что некоторые из перечисленных авторов имели намерение сотворить именно ее.

Но в ситуации бытия в реальной «системе двойной антиутопии», создать выдуманную полноценную антиутопию оказалось невозможно. Получалась только экстраполяция сегодняшнего дня в будущее, что само по себе было воспринято критикой как деяние вполне антиутопической направленности. Завтрашний день у Быкова в «Эвакуаторе», у Доренко в «2008», у Волоса в «Аниматоре», у Славниковой в «2017», у Минаева в «МедиаSapiens» отличается от сегодняшнего только количеством терактов, или даже вовсе ничем. Быковский «ЖД» также воспроизводит сегодняшний день, но только аллегорически, на уровне идеологической символики: борьба хазаров-либералов с патриотами-варягами при безучастном коренном населении.

Только В. Сорокин создал полноценную антиутопию в классическом стиле, описав воплощение в будущем, как ему, вероятно, казалось, особо неприглядного варианта реакционного политического проекта. Сорокин тут же был наказан за инициативу. С удивлением он узнал, что его «День опричника» одобряется многими чиновниками именно как картина желанного будущего!<sup>1</sup> А вскоре появилась и развернутая «утопия с опричниной» — «Третья империя» М. Юрьева. На фоне бытия в реальной антиутопии выдуманная антиутопия превратилась в утопию — видимо, в силу своей последовательности.

Так что же такое наша современная российская якобы антиутопия? Это литературное выражение бескрылой футурологии политконсультантов и представителей современных общественных наук.

Современная футурология по своей природе не может и не пытается иметь дело с действительным будущим. Поэтому картина будущего, рисуемого футурологами с помощью метода экстраполяции (отталкивающегося от якобы «статичного» настоящего), призвана подтвердить, что *к старым страхам не прибавятся новые*. В этом и заключается функция футурологии как отпрыска классических парадигм общественных наук, нацеленных на изучение стабильного состояния.

Максимум, что можно предсказывать в рамках этой парадигмы стабильности — катастрофы. Потому что прогноз катастрофы — это *все та же экстраполяция уже известных негативных факторов в будущее*, что «на безрыбье» должно хоть отчасти успокаивать.

Парадокс популярности «постапокалиптической», посткатастрофической фантастики связан с тем, что объективно она выполняет ту же функцию, что и футурология. Она успокаивает: даже и в наиболее отвратительном варианте будущего не случится ничего непредсказуемого, мы погибнем вследствие тех процессов, которые наличествуют уже сейчас. А главное — после катастрофы можно заняться тем же, что и до нее, — восстановлением старой доброй цивилизации. Ослабленный вариант такой «успокоительной» установки мы видим и в современной российской «антиутопии».

То, что в современных российских политических проектах (как правило, в «реакционных утопиях») присутствует призрак катастрофы и войны — не представляется чем-то удивительным. Для утопического или хотя бы стремящегося стать таковым мышления катастрофа — последний *выход* (из приемлемых). И понимание этого у наших писателей присутствует. Д. Володихин, резюмируя содержание наших «реак-

<sup>1</sup> См.: Сорокин В. Сурков вместе с нашими писателями-патриотами должны разработать «метод суверенно-демократического реализма» // Новое время. № 4. 5 марта 2007 г. С. 44.

ционно-утопических» проектов, отмечает: «К сожалению, общий тон российской фантастики в отношении будущего не особенно благоприятен для самой России. ...Современные отечественные фантасты крайне редко пишут о спокойном эволюционном развитии России. В подавляющем большинстве футуросценариев стране предсказано обильное кровопролитие: переворот, гражданская война, внешняя война, интервенция, «зачистки»... Или даже сочетание нескольких перечисленных катаклизмов»<sup>1</sup>.

Но такая катастрофа-выход снова вернула бы нас в историю, и мы стали бы «историческим народом» — то есть тем, чем мы сейчас себя не чувствуем и не являемся. Не являемся, ибо не можем окончательно выбрать между либерально-рыночной и какой-нибудь из «реакционных» утопий, так как ни одна из них нам по большому счету не нравится.

Тот, кто не решается выбирать между двумя равно сомнительными утопиями, поневоле живет в двойной антиутопии. Понимая, что ничем хорошим такое житье не кончится, он предчувствует впереди катастрофу, но надеется, вслед за футурологами от общественных наук, что она будет предсказуемой, что новых страхов не появится. Мы находим повод для «сдержанного оптимизма» в том, что навсегда останемся лишь со своими старыми, известными страхами — перед возвратом изоляционистской империи, экстремистскими путчами, терактами, гражданской войной по образцу столетней давности или вечной войной западников и патриотов и т.д. И поэтому современная российская «антиутопия» описывает бесконечное приближение к катастрофе, которая, как ей хотелось бы надеяться, ничего не изменит.

## **2. «Третья империя»: христианство для избранных**

Глобальный кризис проявил полную неготовность России к общественным переменам и экономическим потрясениям, а также глубокую зависимость страны от текущей конъюнктуры мировых рынков, находящихся за ее пределами. Проявленная слабость стала закономерным следствием всего предшествующего политического курса, лишённого стратегии долгосрочного развития. Ситуация дискредитации и тупиковости политического и экономического порядка последних десятилетий вызвала вполне ожидаемую реакцию российской общественной

---

<sup>1</sup> Володихин Д. Требуется осечка... Ближайшее будущее России в социальной фантастике // Социальная реальность. 2007. № 1. С. 93.